

*Виктор Лошак***УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ**

21 августа 1997 года Борис Деревянко, как обычно, шел на работу пешком. Путь до редакции в хорошую погоду занимал у него полчаса. Хотя главному редактору «Вечерней Одессы» еще оставался год до шестидесяти, врачи советовали больше ходить. Нервотрепка, вечное курение трубки, сидение в редакции с утра и допоздна уже сказывались на сердце. Когда до здания издательства оставалось метров пятьсот, сзади Деревянко нагнал человек. Неизвестный четыре раза выстрелил ему в спину. Смерть наступила мгновенно. Позже стрелявшего или выбранного на эту роль задержали. На суде он свою вину отрицал, факты у обвинения не сходились, о заказчиках и посредниках и речи в зале заседаний не было. Обвиняемый был признан виновным и получил пожизненный срок. Площадь, на которую спешил к началу рабочего дня Борис Деревянко, теперь называется его именем.

Те, кто знал Бориса Федоровича, а тем более работал с ним рядом, не должны были удивиться, что жизнь его в это время и в этом городе закончилась именно так. Да он и сам что-то подобное предвидел. В 1994-м описывал себя как белую ворону одесской власти: «... Начнешь бунтовать, носиться с реформаторскими идеями, и тогда финалу не позавидуешь».

Мой первый редактор был бойцом. Когда костяк «Вечерки» разъехался, перешел в столичную прессу, он вступил в войну один. Стал не только редактором, но и самым ярким, самым острым автором собственной газеты. Город воспринимал его как последнего бойца обороны Одессы. Обороны от криминала, провинциальной серости, воинственного национализма, реванша бездарностей из бывших функционеров. Одесса избрала его на первых свободных выборах народным депутатом СССР. И это при том, что именно журналист и редактор Деревянко мог говорить городу неприятную правду: «Одесса значит для меня все... Но Одесса многолика. Одесса умная, серьезная и веселая, Одесса терпеливая, неунывающая и талантливая, но

есть и другая Одесса — жуликоватая, жадная, ленивая и грязная, сутливая, истеричная, безумная любительница “сладкой жизни”».

...Уже уехав из Одессы, я еще долго ловил себя на том, что правлю от руки текст так же, как это делал он. Борис Федорович, пыхтя трубкой, печатал на машинке, но правил всегда авторучкой с тонким пером и всегда черными чернилами. Мне казалось, что мой первый редактор Борис Деревянко любит смотреть на себя со стороны: вот так по-хемингуэевски он курит трубку, так тщательно расписывается под приказом, а вот — ярко, но не без позы выступает на летучке... Летучки и вообще прищипоривание коллектива были его страстью. Еженедельно собирая журналистов, он не уставал придумывать анкеты. Кроме выяснения мнений о лучших и худших материалах, мог задать вопрос о том, например, что ты читал на этой неделе или какая статья понравилась у конкурентов.

После первого курса университета летом в каникулы он взял меня на полставки библиотекаря — 45 рублей. Начинать я спортивным репортером буквально в один и тот же день с Геной Швецом, позже одним из лучших спортивных журналистов страны. Полжизни проработал он в отделе спорта «Комсомолки». Гена был профессиональным спортсменом — прыгуном в высоту. Он и в шестьдесят еще участвовал в самых известных марафонах в разных точках мира. Однажды поразил меня тем, что вернулся из Сахары, где тоже, оказывается, бегал.

Неудивительно, что именно Швец придумал ставший популярным в стране марафон одесской «Вечерки» «100 километров за 24 часа». Через год после его открытия мы с друзьями и сами попытались его пробежать или хотя бы пройти, но где-то на тридцатом километре сломались. Помню, как прямо в спортивном костюме я поехал домой, и на улице почему-то все на меня оглядывались. Некоторые улыбались. Я осмотрел себя с ног до головы. Ничего не смог понять. И только дома, раздевшись, обнаружил на спине огромный белый номер.

Работать в отделе спорта было непросто, потому что одним из главных, если не главным автором его был футбольный обозреватель Андрей Ясень. Он громил и возносил «Черноморец» так страстно, будто это был не футбол, а продолжение боев за город времен Великой Отечественной. Ясень был героем не только газеты, но и известной всем «Соборки» — одесские фанаты собирались на

Соборной площади. В самой же редакции верность мнения Андрея Ясеня никогда не обсуждалась. Ясень — это был псевдоним главного редактора. На мой взгляд, «Ясень» — это все-таки было лучше, чем юношеский его псевдоним в районной газете — «Гарольдов».

Когда лето закончилось, Деревянко меня в штат не взял. И разговаривать со мной он тоже не стал. Опытный мой друг Димка Романов предположил, что в заполненной мною анкете Деревянко обнаружил неприятную любому украинскому партийному руководителю запись в графе национальность, а с евреями у него в редакции и без меня был явный перебор. Надо сказать, что все годы работы в одесской «Вечерке» один из главных дискуссионных вопросов в журналистских междусобойчиках звучал прямо: «Антисемит ли Борис Федорович?» Я так и остался сторонником того, что природно этот парень из райцентра Ивановка евреев не то, что недолюбливал, но не вполне им доверял и даже в какой-то степени разделял по отношению к ним линию партии. Но как природный журналист и человек, стремившийся к просвещенности, поощрял таланты и открыто признать в себе хоть каплю антисемитизма не мог. Более того, обвини его кто-то в этом важном для бдительного украинского коммуниста качестве, Деревянко наверняка бы обиделся. Текст, мысль, сенсация были для него важнее любой национальности автора. Но факт остается фактом, что сам он бесконечно этот вопрос обдумывал и к нему возвращался даже в своих редакторских колонках. При этом очевидно: оценки других его волновали меньше самооценки. Он как-то признался: «За годы редакторства мне пришлось выслушать и прочитать о себе много и всякого — как резко критического, так и восторженного. Оценки были просто взаимоисключающими: антисоветский, антипартийный деятель и партократ, сионист и антисемит, демократ и консерватор, умница и дурак (“Ты не Ясень, ты — дуб!”), справедливый и бессердечный...» Деревянко все-таки жил в Одессе, где самоирония была и остается главной защитой. Интересно было наблюдать, как боец партии сочетался в этом страстном человеке с тонким и смелым делателем самой популярной в городе газеты.

Одесса ждала «Вечерку» долго. При советской власти городская вечерняя газета разрешалась городу с миллионом жителей. Миллионнику полагалась уже иная инфраструктура и многое другое. Но с этим долго тянули, хотя все знали, что миллионный житель уже давно родился. Наконец, летом 1973-го ему разрешили родиться и

официально, а 1 июля вышел первый номер «Вечерки». В миллионной Одессе тираж «Вечерки» достигал двухсот тысяч экземпляров. Получалось, эту газету читали все или почти все одесситы. Это слово, «одесситы», кстати, ужасно не любили в украинских партийных верхах, чувствуя за ним опять же какой-то неправильный национальный оттенок. Честно сказать, мои земляки платили власти тем же — глубоко и искренне «имели ее в виду». Одесса, собственно, как и вся страна, напоминала море наоборот: наверху все благостно — штить, зато ближе к невидимому дну, внутри общества — волны недовольства и шторма разочарований. Позже эта накопившаяся придонная энергия и вылилась в революцию — перестройку.

Из штата я осенью 1973 года ушел, но продолжил печататься и учиться. Популярность «Вечерки» и игра за баскетбольную сборную университета позволяла мне не очень напрягаться на местном филфаке. Следующим летом Деревянко меня окончательно взял в газету. Моими университетами стали письма трудящихся города-героя. Одесса, вся Одесса писала. Иногда мне казалось, я слышу над городом шорох — это скрипели по бумаге тысячи авторучек. Через много лет в «Известиях» я нашел неожиданное подтверждение того, что это, быть может, не галлюцинация. На каждую республику и область в отделе писем этой огромной редакции было по одной учетице, а вот на Одессу — три!

Я даже помню первую стопку расписанных мне, как корреспонденту, писем и фразу из верхнего конверта: «Костик стоял на тонких ножках и от воздуха качался». В общем, ничего веселого. Давно забытый жанр письма в редакцию, а на моих глазах этот водопад превратился в реку, потом в ручеек, потом в тонкую струйку и иссяк... Даже старый добрый «Огонек» редко теперь будит у читателя желания купить конверт и сесть за белый лист. Зачем, если есть интернет?

В «Вечерку» каждый день приходило по мешку писем. Если бы они были звуковыми, то из мешка доносились бы стоны, ругань и плач. Письмо в редакцию при советской власти было обычно последним жестом отчаяния. Помогая людям, газетчики сами провоцировали своих читателей писать им. Если не считать вечных жалоб на отсутствие воды, шум трамваев и неустроенность коммуналок, можно было бы не поверить, что одни и те же идеи и вопросы приходили в голову самым разным гражданам почти ежедневно круглый год. Чаще всего одесситы кричали «Эврика!» от идеи о том, что раз

под Одессой есть катакомбы (город строился из камня, который под ним же и добывался), то «у нас же легко будет провести метро!» Раз в неделю кто-нибудь просил объяснить: ну неужели для ветчинно-рубленной колбасы действительно рубят такой замечательный дефицит, как ветчина?

У жанра «одесского письма» был и свой король. Его звали Георгий Никонович Мудряков. В подписи значилось «ветеран войны и труда». И он действительно воевал, а оставшуюся часть жизни проработал на судоремонтном заводе. Письма Мудрякова легко было узнать сразу — они начинались с выведенной цветными чернилами цитаты из классиков марксизма-ленинизма. В «Вечерку» Мудряков писал много, но все-таки по остаточному принципу. Его письма цитировались едва не во всех главных телепередачах страны. Особенно его любил главный политобозреватель СССР Юрий Жуков. «Ветеран войны и труда Георгий Мудряков из Одессы спрашивает, до каких пор израильская военщина...» — начинал мэтр «Международную панораму». Бичевал Георгий Никонович и «американский империализм», и «колониальную политику тори», и так далее по всему пропагандистскому списку. Сам же эпистолярный король из Одессы очень гордился одной своей победой. Якобы это он написал Алексею Каплеру в «Кинопанораму» письмо с замечанием, мол, не сиди в кресле — осанки не видно. И Каплер пересел на стул.

Была у этого изобретательного пенсионера и своя ловушка для журналистов. Через копирку он размножил ответ из Института русского языка о том, что выражение «поднять тост» неверно, поднять можно лишь бокал или рюмку. Как только в любой из газет страны он встречал что-то с поднятием тоста, тут же слал возмущенное письмо с копией ответа специалистов. Не знаю, почему все это доставляло старому одесситу удовольствие?

Жизнь Георгия Никоновича закончилась так, как и должна была. Переписку, связки ответов он хранил на чердаке своего старенького дома на Пересыпи. Будучи пожилым и грузным, полез за какой-то бумажкой, сорвался и больше не встал. Зять его позвонил в редакцию: «Вам не нужны ваши ответы?»

Вообще у журналистики есть какие-то магниты, которые затягивают и затягивали в нее самых разных, порой совершенно посторонних профессии людей вроде Мудрякова. Публичность? Тщеславие? Безмерно популярный в СССР фильм «Журналист»? Хорошо

одетые, брезгливые типы на телеэкране, неискренне сочувствовавшие американским безработным? Одним из таких случайных, но замечательных персонажей был мой начальник — заведовавший отделом писем Игорь Новицкий. Он закончил войну командиром авиаполка, был изранен и награжден. Война и самолеты остались его родиной. Работу мы с ним делили так: я с интересом занимался письмами, а Игорь с таким же интересом простаивал часами у окон редакционного холла, выходявших в сторону аэропорта, и четко фиксировал ошибки и удачи своих настоящих коллег при посадках и взлетах.

«Нет смелых журналистов, есть смелые редактора», — эта советская аксиома была полностью применима к Борису Деревянко, а позже, уже в Москве, и к другому моему учителю — Егору Яковлеву. Советская журналистика от Сталина до Брежнева была сурова: да, автор отвечал за написанное, но после публикации главным ответчиком становился главный редактор. Деревянко как главред и взял на себя бесконечно тяжелый груз сатиры в газете. Мне даже трудно представить, какое количество врагов он нажил себе в Одессе, как выкручивался в мрачных коридорах Одесского обкома партии — том самом здании, где уже в другую эпоху, 2 мая 2014-го, горели одесситы.

Но любовь города-шутника «Вечерка» завоевала именно своими фельетонами. Они назывались «Пробегами Антилопы Гну» (привет Ильфу с Петровым), каждый имел свой номер и дежурных водителей. Фельетонистов было трое, а каждый очередной фельетон писали вдвоем. Жанр был трудоемким: проверка фактов и документов, встречи с героями, какие-то нужные поездки и муторно долгое писание... Город хорошо знал всех троих еще и потому, что двое, Юрий Макаров и Семен Лившин, были известными одесскими КВНщиками, а третьего, Диму Романова, просто нельзя было не запомнить: высокий, глаза-двустволка, с острой рыжей бородой... Я никак не мог представить, как человек с такой внешностью работал до газеты пожарным. Популярность их была невероятной. Шутники — вообще главные одесские герои, пожалуй, похлеще капитанов дальнего плавания и даже футболистов «Черноморца». Каждый день мы по Пушкинской улице из редакции ходили пить кофе в бар гостиницы «Красная». Несколько раз к Макарову, капитану ставшей чемпионом страны команды КВН, мамыши с одесской непосредственностью подводили детей: «Потрогай дядю, доча, это Макаров!»

Собственно, это была и остается главная необычность Одессы. Отсутствие дистанции между людьми — это то, что так удивляет, а иногда и пугает приезжих. Через минуту после того, как вы спросили: «Как пройти на Дерибасовскую?» — одессит вам расскажет о себе и семье такое, что в Москве вряд ли доверят друзьям и после десяти лет знакомства. Когда меня просят объяснить Одессу, я всегда вспоминаю один и тот же эпизод. Мы с моим старшим другом по «Вечерке» Женей Голубовским, разговаривая, ловили такси. Подъехали «жигули», и мы сели сзади, продолжая беседовать. Через несколько минут на светофоре немолодой водитель повернулся к нам: «Говорите же громче, мне не слышно».

Секрет естественного одесского юмора был не сложен — нужно было просто уметь слушать и слышать свой город. Жванецкий, например, всегда передвигается по Одессе с блокнотиком («Не можешь любить? Сиди дружи», «Это же как нужно ненавидеть страну, чтобы бросить квартиру с таким ремонтом», «Меня опасно в гости звать. Я прихожу», — это все оттуда), а писатель Валерий Хаит издал смешную книжку из просто услышанного. Там, поверьте, нет ни одного из пошлых якобы одесских анекдотов, пачками рассылаемых в сети и по мобильным. Одесса, в отличие от героев этих анекдотов, шутит без натуги.

Видимо, потому, что я все время писал какие-то реплики по письмам, меня взяли в команду фельетонистов. Там как раз освободил место Макаров, которого повысили до редактора самого большого, экономического отдела. Через несколько лет я унаследовал от него и этот пост, а позже вслед именно за ним перебрался в «Известия»... Герой КВН и лидер «Вечерки», Юра на всю жизнь оставался моим любимым другом — терпимым, веселым, разнообразно одаренным. Вспоминая перестройку, нельзя, например, обойти ее знаковое событие — Юрину пьесу «Не был, не состоял, не участвовал» в театре им. Станиславского. Трагедия и новый взгляд на жизнь, пришедший к человеку, потерявшему партбилет... Сегодня даже трудно объяснить, насколько революционным был этот сюжет. Пьеса шла с таким успехом, что Макарова пригласила родная Одесская киностудия. Перед ним поставили лишь одно условие: «Мабудь, Юрію Івановичу, це будэ профспілковий квіток?..» Помню, тогда мы с ним, смеясь, вспомнили закон украинской партийной жизни: что в Москве не любят, в Киеве — ненавидят.

Отъезд Макарова в эмиграцию в середине 90-х был прежде всего несправедлив к его таланту журналиста (он работал редактором отдела фельетонов «Известий») и драматурга. Как бы ни успешен он был в Америке, именно в Москве, а не в Нью-Йорке были его среда и его читатель.

...Я прожил счастливую журналистскую жизнь. Счастье это было в друзьях и учителях, в тех газетах и журналах, где я работал и работаю. В «Вечерке» мне было так интересно, что первые несколько лет я даже не ходил в отпуск. Работа все равно была интереснее. Так же, собственно, жил и Деревянко. «Мой рабочий день длится 10–12 часов, — как-то писал о себе Борис Федорович, — львиная доля времени принадлежит не мне, а полосам, чужим рукописям, письмам, справкам, приказам, телефону, приемам по личным вопросам, выступлениям перед людьми...» Изредка Деревянко уезжал в командировки, а в отпуск — никогда. Но и в это счастливое десятилетие «Вечерней Одессы» (я пришел в нее в 22 и ушел в 33) не было интереснее времени, чем то, когда мы с Лившиным и Романовым писали фельетоны.

Кроме самой работы, встреч с людьми, бесконечного придумывания шуток, каких-то, как мы их называли, «площадок» с размышлениями, разочарованного черканья написанного, было и внутреннее ощущение, что мы смеемся над монстром, которого ненавидели и обсуждали на кухнях. Смеемся над властью, над тупой местной бюрократией, над порядком вещей, которому вроде должны были служить. Мы многих защитили, кого-то и спасли, но попутно, конечно, и обидели немало. Почему-то эти обидные эпизоды застряли в памяти четче. Позже стало понятно, что в том числе выступали и против каких-то зачатков рынка, против пусть искаженной, но личной инициативы, пробивающейся робко в советских гражданах. После наших фельетонов закрыли знаменитую одесскую барахолку. Нам, например, тогда казалось справедливым сражение с теми, кто скупал у водителей дизтопливо, чтобы использовать его для обогрева теплиц, кормивших город ранними овощами. То обстоятельство, что экономические порядки заставляли шоферов все равно сливать бензин и солярку как доказательство пройденного большого километража, нами в расчет не бралось.

Кажется смешным, что мы боролись, например, со спекуляцией — выгодной перепродажей товара. Смешно это было прежде всего потому, что этим промыслом занималась половина города — все,



кто был причастен к работе на море. Потому что стимулом работы советского моряка была так называемая «школа» — умение с максимальной выгодой потратить заработанную в рейсе валюту. Тут была масса нюансов и тонкостей: где и что купить, кому и за сколько перепродать. Например, джинсы везли только лохи, люди с опытом привозили из рейса отдельно ткань, нитки и фурнитуру, что было куда выгоднее. В Одессе, напомним, находилась крупнейшая в мире судоходная компания — Черноморское морское пароходство, а еще китобойи, рыболовы, технический флот и т. д. Таким образом, спекуляцией кормились десятки и десятки тысяч одесситов. Среди самих горожан она уж точно не была зазорной.

Возможно, со стороны наша работа казалась фанатичной. Мы могли ночь напролет придумывать заголовки для фельетона и, окончательно озверев от этого занятия, часа в три ночи минут тридцать играть в длинном редакционном коридоре один на один в футбол моим спущенным баскетбольным мячом. Смешно, как однажды после такого матча на рассвете, когда мы с Семеном Лившиным сочиняли что-то о торговле цветами, а заголовок не шел, нам в одну и ту же секунду пришло в голову название — «Вяленький цветочек».

Со своими фельетонами мы десятки раз могли лишиться и работы, и партбилетов, что собственно было одно и то же. То замахнулись на неприкасаемых, то герои оказывались чьими-то родственниками, а то и сами прокалывались на собственном кураже. Например, как-то использовали в концовке текста цитату из популярного антисоветского анекдота. Какой-то бдительный читатель просек и пожаловался в Киев. Какой начался скандал! Но все-таки нашим громоотводом был главный редактор и, как ни странно, не только он. Еще в перестройку мне казалось несправедливым поголовное бичевание тех, кто работал в партийном аппарате. Может быть, СССР и оставался так долго на плаву, потому что среди тех, на ком держалась власть, было немало трезвых и достойных людей. В ЦК работали и Александр Николаевич Яковлев, и замечательные авторы «Московских новостей» — Андрей Грачев и Александр Ципко, будущий пресс-секретарь Михаила Горбачева — Виталий Игнатенко, Виктор Черномырдин, а в самый последний призыв — Сергей Ястржембский, Игорь Малашенко... То же и на местном уровне. Смелость «Вечерки» была защищена первым секретарем горкома Петром Дацко и особенно секретарем по идеологии Евгением Стеценко.

Дацко изредка приходил в свою газету, но не выступал, а, в основном, слушал. У него был внимательный и тяжелый взгляд. Хотя до горкома он возглавлял крупный завод, мне казалось, что именно война, которую он прошел от звонка и до звонка, оставила в нем какой-то трагический незаживающий след. Вообще в советское время люди воевавшие меньше боялись, их этические принципы, их знания о хорошем и плохом, достойном и недостойном были четче разложены по полочкам. С главным начальником Одессы я столкнулся лично лишь однажды. В ночь после объявления о смерти Брежнева меня послали на митинг ночной смены сборочного цеха старого машиностроительного завода ЗОР. Люди собирались неохотно, переругивались. От разбитых окон тянул сырой ветер. Дождаться нужно было в кабинете начальника цеха. Я вошел и застал там лишь одного человека — за столом сидел первый секретарь горкома. Было темно, холодно, и мы долго молчали. «Который час?» — спросил меня Дацко. «Я без часов, Петр Семеныч». Мне показалось, ему полегчало. Дальше он мне бесконечно долго и наставительно рассказывал, как важно для журналиста чувство времени и уж часы иметь совершенно обязательно. Что случилось с его часами, я спросить постеснялся.

Еще и не мечтая стать главным редактором, я пристально наблюдал за Борисом Деревянко. Думаю, всех без исключения интересует личность собственного начальника. Но меня необъяснимо интересовала технология его работы, логика решений. Почему-то первое, что я понял, — это обреченность на одиночество. Наверное, это касается любого, кто руководит людьми творческими: режиссеров, главных редакторов, дирижеров... Деревянко ни с кем в «Вечерке» не сближался. Что-то мог обсудить, уважал кого-то больше других, но даже на редакционных застольях никогда не было пожелавших заступить за красную линию отношений с шефом. Мы выпустили, наверное, сотню редакционных стенгазет по самым разным поводам и написали десятки всевозможных капустников, где шутили и на его счет. Он, внешне, не обижался, но уж точно никак этому не радовался. И вообще, я думаю, обиделся по-настоящему на меня лишь однажды, когда я не пригласил его на собственную свадьбу. Мы просто боялись всеобщей скованности от присутствия такого гостя и, наверное, были неправы. Много позже, когда вдова Бориса Федоровича Алла собрала его публикации в книгу, я был тронут и удивлен одной

фразой из ее письма: «Борис понимал, что многими не услышан... Он всегда выделял вас среди других».

Глядя на то, как вел дела Борис Деревянко, я понял, что газета, радио, телеканал — это, конечно, журналисты. Но главное — среда, которую удается создать. И читатели, и журналисты, и те, кто изредка пишут в газету, и другие, кому можно позвонить, чтобы проверить факт или уточнить подробность. Старшим по фельетонам у нас был Семен Лившин. Бог ему дал не просто талант, а сатирическое сознание. Он смешно писал, смешно общался, весело жил. Когда в дружеском кругу начинал шутить, этот поток уже нельзя было остановить. Я бы не удивился, если бы в окружении Семена Адамовича кто-то действительно от смеха помер. В углу его кабинета под шкафом промышляла морская свинка Маша. Стоило Семену забраковать написанное и бросить скомканный лист на пол, как Машка выбегала и с радостным хрустом начинала жевать бумагу. На гостей этот трюк производил ошеломительное впечатление. Предметом нашей особой с Димой заботы были Семины попугайчики. Несмотря на легенды о жуткой яйценоскости и ударном материнстве, у этих желтых нахалов не получалось ни с яйцами, ни с птенцами. Мы применяли все возможные методы, чтобы порадовать любимого начальника. В воду птичкам подмешивали и «ркацителы», и «билэ мицне» — не помогало. Семен очень расстраивался. Тогда мы заказали известному в городе камнерезу два яйца. Когда Лившин по утру провел дежурный осмотр, счастьем его не было границ... Потом нам пришлось скрываться до конца рабочего дня.

Нет ни Димы, ни Юры, ни Семена, и единственные люди, с кем можно вспомнить то время, — знаменитый одесский журналист Женя Голубовский, наша фабрика идей, и легендарный Ефим Выдомский. Четыре колеса «Антилопы Гну» — это и был Ефим. Он служил одесским таксистом, но план его горел голубым пламенем чуть ли не ежедневно, потому что Выдомский мотался по нашим общим фельетонным делам. Все оборвалось на том, что, зацепившись за «пятый пункт», профком таксопарка не пустил его в Болгарию. «Ах, так?!» — ответил им Ефим Яковлевич и, собрав жену Риту и сына Вадика, уехал обиженный в Америку. Чем же занялся он там? Работал таксистом и писал в «Новое русское слово» бичующие реплики о состоянии дорог Нью-Йорка, уличном мусоре и полицейском беспределе. Ровно о том же, о чем приносил заметки в «Вечернюю Одессу».

Однако о чем бы Выдомский ни писал, в истории Одессы он остался как знаменитость. На организованной «Вечеркой» одесской «Юморине» этот асс съехал на «Запорожце» по Потемкинской лестнице.

Парадоксально, что веселый городской праздник с шествием и пробегом старых автомобилей — «Юморину», придуманную одесскими КВНщиками как хотя бы какую-то временную замену КВНу, — со временем тоже запретили. Больше других, может быть, расстроился режиссер Олег Шашкевич, позже ставший незаменимым помощником и литературным секретарем Миши Жванецкого. Ведь название «Юморина» придумал именно Шашкевич. «Юморину» пытались отвоевать с применением тяжелого московского оружия. В Одессу специально приехал редактор отдела сатиры и юмора «Литературной газеты» Виктор Веселовский. Его обращение к первому секретарю Одесского обкома партии начиналось словами: «Советский народ — народ весельчак». Не помогло. Из обкома Веселовскому, копия «Вечерке», разъяснили, что Одесса — город замечательных трудовых и боевых традиций и смеяться здесь не над чем, да и времени на это у народа-труженика нет.

Мы, каждый по-своему, трудно уходили из «Вечерки». Романов стал собкором «Труда», мы с Лившиным рванули в столицу. В такой трудный момент, когда, по сути, все нужно было начинать с начала, доказывать заново собственную состоятельность после одесской популярности, мы были очень сосредоточены на себе. Наш разгонный блок — «Вечерка», казалось, навсегда остался в пройденных, одесских слоях атмосферы. Мы уж точно не очень задумывались, какво без нас будет газете и ее редактору. Через годы какой-то старый коллега обвинил Деревянко, что он разогнал лучший состав «Вечерки». Ответил ему редактор, как это у него было принято, через газету: «Господи, да какой редактор в здравом уме будет разгонять людей, на которых держится газета? Кто может знать, что творилось на душе у меня, когда то один, то второй, то третий просили отпустить их! Что же я не понимал, что с уходом Семена Лившина, Виктора Лошака, Дмитрия Романова уйдет и юмор со страниц газеты? Что на первых порах нельзя даже пытаться найти им замену, потому что равноценной нет, а на подмену читатель просто не согласится?.. Но ясно было: человеку надо расти, он хочет заявить о себе громче, он, в конце концов, принял нелегкое для себя решение — начинать сначала, это и мужества требует».

Одесса тяжело отпускала меня. Я еще не разложил чемодана в Москве, как пришло страшное известие — умер от разрыва сердца папа моей жены Марины, молодой, 53-летний. Он был мне и родственником, и другом. Через несколько дней после похорон уже моя мачеха сломала шейку бедра. Страшно было отвечать на междугородные звонки — опять слезы: не стало любимой таксы. В довершение тяжело заболел самый ценимый мною в жизни человек — мой папа. Все выбились из сил: Марина — в Одессе, я — в Москве. Но отступить было нельзя и невозможно. Одна жизнь и одна история, в том числе и история страны, заканчивалась, начиналась другая.

